

Дмитрий Чугунов

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АЛИНЕ М.

Повесть

Мчатся тучи, вьются тучи...

1



Дмитрий Александрович Чугунов родился в 1971 году в Воронеже. Окончил филологический факультет, факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Доктор филологических наук. Стихи и проза публиковались в журнале «Подъём», коллективном сборнике «Первая вежа», двухтомной антологии поэзии ВГУ «Земная колыбель». Автор нескольких поэтических сборников. Живет в Воронеже.

Каким ветром ее занесло в небольшой провинциальный городок, не помнила, наверное, и она сама. Маленькие домики здесь теснились на высоком правом берегу над тихой речкой. Левый, плоский, в пыльной дымке, уходил в степную даль, закрытую, впрочем, от глаз бараками механического завода и зданиями железнодорожного депо. Центральная улица города была застроена старинными зданиями в три или четыре этажа, напоминавшими об Александре Третьем и Серебряном веке. Некоторые особняки помнили известных литераторов прошлого, что давало горожанам наивный повод гордиться собой и называть Юрьевск культурной столицей окрестных мест. Даже война не переменяла этого мнения. Сталинками аккуратно заместили в городе самые безнадежные развалины, остальное — восстановили по имевшимся чертежам. Население, разнесенное по земле вихрями военных лет, постепенно собралось на прежнем месте. На одного настоящего горожанина приходилось теперь по трое-четверо пришлых из ближних и

дальних деревень, но это было ничего. Страна с единой надеждой смотрела в будущее, обрядовые песни на свадьбах чередовались с городским романсом, а частушки — с бардовской песней. Избы уступали место хрущевкам. Новостройки времен развитого социализма утопали в зелени, а памятники вождю мирового пролетариата и героям Великой Отечественной были хотя и многочисленны, но не отличались монументальностью.

Хотя нет: конечно, помнила.

Городок, в сущности, был маленький, а девушка была большая.

Она читала рассказы китайского писателя Ян Цзе и на каникулах ездила на пленэры в Подмосковье с художником, ведущим свой род от тех Тимиревых, что выдвинулись в опричнину. Она слушала лекции от Европейского университета, где рассказывали о судьбах кериянцев, обитавших в отдаленных уголках пустыни Такла-Макан, а по керамике американской художницы Холли Муэро изучала латиноамериканские мотивы в искусстве. Так бутоны цветов ждут момента, чтобы из простого *обещания* превратиться в *прекрасное*.

Умерший патриарх Алексей Второй был родом из Эстонии.

И ее близкие были родом из Эстонии.

Помню, как мы удивились, когда она в популярной соцсети поставила рядом две картинки. На первой — круглолицая крестьянка откуда-то из-под Йыхви или Марьямаа, одетая в блузку-кяйсед с длинными рукавами зеленого цвета, с круглым медальоном на груди. На второй — сама Алина в возрасте тринадцати или четырнадцати лет — такая же круглолицая, с волосами, убранными в узел на затылке. Только очки были разными: у эстонки из далекой дореволюционной России маленькие и круглые, будто у Грибоедова на известном портрете, а у Алины — большие, в светлой роговой оправе на половину лица.

— Какая родная девочка, — сказала она, показывая нам *себя* и *ее*, — похожа сразу на Лизу и племянницу Женю. А еще на меня, мою тетю и бабушку.

— Вы не родня?

— Хочу так думать. В такой крохотной стране все — родня.

Может быть, потому она и не поехала в Москву или Санкт-Петербург, а отправилась в среднерусский Юрьевск. Городок казался уютен и понятен ей. Сюда и матушка Алины, подвизавшаяся на ниве художества, часто заглядывала. Светловолосая, коротко стриженная по прибалтийско-европейской моде, из уютной Нарвы перебравшаяся в поисках смысла жизни в центральную Россию, она истово бродила по живописным деревенским церквущкам, по возрождавшимся монастырям, заводила знакомство со священниками и разными творческими людьми. С отцом дочери, рабочим из Северодонецка, она благополучно развелась, а потому была не стеснена в своих передвижениях.

Мои знакомые рассказывали о беспокойном водовороте, захватившем художников в конце прошлой эпохи. Можно было бесконечно шутить о шедеврах под названием «Дед Архип и трактор в ночном», однако действительность становилась все более неумолимой. Время больших красных полотен утекало, словно в песочных часах, а будущее сквозило непонятной пустотой. На заводах директора уже не нуждались в плакатах с лозунгами к первомайским демонстрациям, многотиражки закрывались, в детских школах искусств не платили зарплату.

Оголодавшие художники переключились с воспевания передовиков производства на парадные портреты новых русских и их любовниц. Самые

продвинутые расписывали галереи в старинных особняках. Наряду с историческими Василиями и Иванами в этих галереях висели перестроечные Егоры и Гавриилы. Отдельные эстеты окучивали балерин и актеров.

В Юрьево седовласый патриарх местной живописи вдруг извлек из запасников на свет Божий целую серию полотен на духовно-историческую тему. Куликово поле, инок Пересвет и тому подобные сюжеты. Это было событие. Его менее даровитые последователи пошли по другому пути. Один наловчился мастерить иконы из бересты, которые дарил митрополиту и благочинным в надежде получить хороший заказ на роспись возрождавшихся храмов. Другой заделался подвижником в образовании, кочуя по воскресным школам и ведя там начальный курс иконописи. Третий махнул рукой на реалистическое искусство и подался в примитивисты, соблазняя публику коричневыми фигурками мексиканских папуасов. Эдакое сочетание коня и трепетной лани в вопросах выживания.

Матушка Алины ощущала себя слишком свободной, чтобы примкнуть к кому-либо, но с удовольствием рассуждала о духовности, которую не обнаружила в бывшем муже и надеялась теперь отыскать в новом обществе. Так как знакомые одну неделю носились с цитатами из Лао Цзы, а в другую — цитировали Андрея Кураева, Валентина Петровна вместе с ними переходила от источника к источнику, пока не познакомилась с батюшкой Евфимием и его семьей. Лишь тогда она замедлила ход своей жизни.

Помню, когда Алина впервые вошла в аудиторию и спокойно села за вторую парту у окна, я сразу обратил внимание на выражение ее лица. Нет, она вовсе не была красивой. Разве можно назвать красивой девушку в огромных очках и с волосами, бесхитростно убранными назад, разделенными пробором, будто у строгих училок! Мои однокурсницы делали себе модные азиатские прически, носили укороченные топы и меховые розовые жилеты, а тут все по-монашески. И смотрит на окружающих странно, будто видит что-то, чего не замечают остальные.

Зато на старославянском она блеснула. Пока мы продирались сквозь большие и малые юсы в компании с ятями и кривыми «греческими» буквами, она с веселой ухмылкой и нараспев декламировала строчку из притчи о блудном сыне или о том, как «чловекнекийскопа точило». Мы представляли себе некий кусок железа, который неизвестно кто давным-давно засунул в пыльную землю Палестины, а другой неизвестный с радостью этот бесполезный предмет зачем-то откапывал. А она все с той же безмятежностью пропевала слова, будто пробовала на вкус: «Точило, мироточение, источник...»

«Вот, значит, как?» — с легким удивлением приподняла брови Елена Владимировна, преподававшая у нас. И в последующем всегда просила ее первой озвучить новый текст.

Если бы нас попросили заварить кому-нибудь чай и затем начали нахваливать за небывалые кулинарные умения, мы бы вытаращили глаза и решили, что над нами издеваются. Достать пакетик? Нагреть воду? Соединить одно с другим? И это — сложно?!

Не сложнее того после многочасовых молитвенных стояний прочитывать несколько предложений на старославянском, самое большее — страичку в репринтном пособии. И устать, запнуться, забыть букву?!

Откуда же в твоей жизни возникли молитвенные стояния, советская девочка Алина? Ну, или почти советская. Не придумываешь ли ты их? И что это за «Три этюда к фигурам у подножия распятия»?..

Твои рисунки на полях конспектов, когда лекции особенно скучны, убеждают меня в правдивости рассказов о маме-художнице. Истории столь колоритны, что не могут быть выдуманными. И не могут принадлежать человеку другой профессии, только художнику.

Матушка учится в художественном училище. Маленькая Алина — у бабушки, которая всю жизнь отработала на металлургическом комбинате и теперь на пенсии. Запах мамы смешивается в ее сознании с волнами табачного дыма, едким ароматом растворителей, еще чем-то непонятным — соломенным, холстяным, древесным. Когда мама навещает их, она иногда поет странные песни. От этих песен, повторяемых детскими устами, соседки на лавочках у подъезда тихонько охают и многозначительно кивают друг другу. «Надвигались сумерки густые. И свеча лила печальный свет...» — беззаботно выводит кроха. И дальше — про Охотское море, про жизнь, ушедшую в дорожные дали...

Общага при художественном училище в Юрьеве — сказочное и далекое пространство. До нее — пара часов на автобусе. Мама приезжает к бабушке и Алине нечасто. В такие дни они сидят, обнявшись, и гладят домашнюю кошку. И еще читают разные книги. Алине шесть, но она знает все буквы и может складно рассказать об африканских обезьянах, о лианах в тропических лесах и почему-то о Флоренции.

У Алины два дома. В одном нет мамы, в другой ее пока не берут. Поэтому она однажды заходит в рвущем сердце плаче, цепляясь за рукав Валечкиного платья.

«Я с тобой, мамулечка», — говорит она.

«Да как же мы поедem, бабушке не сказав? Бабушка сейчас у подруги. Вернется, а дома никого нет», — удивляется мама.

«Ничего, мы ей потом напишем», — говорит она.

«Э, да у тебя и температура поднялась, — боится мама, — куда же с таким горлом в дорогу?»

«Мамулечка, я тебе обещаю, что все-все сразу станет хорошо, если ты меня заберешь!»

Удивительное дело: температура и впрямь спадает, едва мать и дочь выходят из квартиры и оправляются на автовокзал.

Мама теперь живет не в общежитии, а снимает домик, спрятавшийся на почти безымянной улице. Улочка вьется пунктиром по крутому правому берегу. Невдалеке Никольский храм, один из трех действующих в городе. Остальные закрыты, разрушены, переделаны под архивы, мастерские, хранилища. В Никольском службы не прекращались даже в хрущевские времена, несмотря на большое серое здание милиции в двух шагах и партийную гостиницу по соседству. Улица, где обитает мама Алины, носит некрасивое имя — сколько-то там лет чему-то советскому.

Дипломная работа мамы Алины в художественном училище — «Икар». До нее так изображали полет Алексея Леонова. Взгляд космонавта с космической станции вниз, на Землю. Только теперь между Леоновым (или Гагариным) и большим шариком с синими океанами и белесыми атмосферными вихрями помещен красивый юноша со страдальчески-целеустремленным взглядом к небу. Комиссия должна думать, что Икар — аллегория советской космонавтики. Мама Алины знает, что Икар — аллегория свободы. Он рвется к Богу, против которого коммунисты.

Поэтому имя улицы, на которой стоит ветхий домик, никто из ее друзей не произносит. «Чур, чур меня», — однообразно шутит художник с

фамилией Шкапа, приходя в гости и всякий раз читая адресную табличку на калитке.

Я несколько раз пробую, ничего не говоря Алине, найти домик, в котором они тогда жили. Ничего не выходит. Сейчас, по прошествии лет, мне кажется, что можно было бы свернуть еще в один переулочек, и еще в один, благо, что их там видимо-невидимо. По некоторым машине не проехать, только пешком, и вот так, ножками, спотыкаясь на неровных ступенях, которые иногда попадают на спусках и подъемах, добраться до приюта творческих людей.

Кто знает, возможно, и так.

Или же я искал недостаточно усердно, потому что Алина рассказывала обо всем чуть отстраненно: словно бы недоумевая, зачем она это делает, однако с такими живописными подробностями, что складывалось впечатление, будто я уже тысячу раз бывал в этом доме.

Дому было двести или триста лет. На самом деле — много меньше, потому что фашисты, захватившие половину города, обстреливали с высокого правого берега наших солдат, а те стреляли в ответ, и все дома, лепившиеся по косогорам, были по три раза разрушены. Возвращавшиеся жители отстраивали их из подручного материала, вот они и выглядели, как трехсотлетние.

Печное отопление, водоразборная колонка на углу, заколоченные окна первого этажа. Алина карабкалась вслед за мамой в ее жилище, с удивлением обнаруживая под ногами плиты с именами.

С именами? Ступени лестницы, названные по имени?

«Это имена настоящих людей», — пояснила, не оборачиваясь, мама.

«А почему они тут лежат?»

«Раньше они лежали на монастырском кладбище. А потом монастырь закрыли и все там разломали».

«И сюда принесли? Чтобы ходить можно было?»

«Да, чтобы ходить».

Мама рассказала не только про плиты. Когда была революция и свергали царя, то монахов, которые были за царя, здесь сажали в бочки, утыканные гвоздями, и пускали вниз. Они катились и умирали.

Для чего Валентина Петровна делилась этими подробностями с дочерью? Нужно ли было знать все это той, которая только собиралась пойти в первый класс?

Мама всегда воспринимала ее как взрослую, сказала Алина.

Может быть, потому что мама сама оставалась ребенком? Никакой не Валентиной Петровной и даже не Валентиной, а Валечкой, как ее звала бабушка. Для мамы жизнь в этом дряхлом доме была таким же приключением, как и для дочери. Две жилые комнаты находились на втором этаже, на опасной верхотуре, куда вела шаткая деревянная лестница. К перилам кто-то из гостей приделал табличку с глубокомысленной поясняющей надписью: «Залазить тута». Вообще, в доме обнаружилось множество подсказок. Над кроватью хозяйки висела заржавленная подкова для огромной лошади. Прямо по стене синей вязью бежала надпись: «На щастье». Рядом с хлипким окном красовалась табличка, снятая из какого-то автобуса: «Запасный выход». Рядом другая: «Выдерни шнур. Выдави стекло». Чтобы никто из веселых гостей не последовал совету, всем первоприходящим демонстрировали захламленный мусором и заросший колючим кустарником овраг внизу, в который выходить категорически не рекомендовалось.

Весь интерьер состоял из допотопного стола, рассыпавшегося шкафа и множества картин, развешанных по стенам. Странные лица на некоторых из них снились заночевавшим гостям, после чего эти самые гости напрямиком направлялись в Никольский храм ставить свечку за свое здравие.

«Это они еще пол не видели в соседней комнате», — со смешком сказала Алина.

«А что с полом?»

«А его местами не было. Провалился. Вот если бы кто-нибудь заглянул в провал, я снизу его окликнула — он бы и обомлел!»

Кто еще из моих однокурсников употреблял это слово — «обомлел»? Большая часть изъяснялась на языке Бивиса и Батхеда или повторяла со всеми характерными интонациями выражения модных телеведущих.

Я поинтересовался, не от школы ли у нее такая образная, насыщенная речь? Она рассмеялась. Нет, вовсе нет. В школу она захаживала редко. Там было неинтересно.

«Ты не любишь учиться, Алина?» — спросил я.

«Отнюдь нет, люблю». Так она и сказала. Не пропустила маленькое и нелюбимое языковыми эстетами словечко «нет». Все дикторы на телевидении, и все преподаватели в институте, и все мои знакомые убеждены, что краткий ответ «отнюдь» элегантен и емко, он поднимает говорящего на уровень культуры XIX века. Даже преподавательница, которая ведет занятия по русской словесности советского периода, усекает выражение до этого слова. Алина же знает, что ее любимый Бунин (не ее, а преподавательницы) негодовал, когда слышал из уст станционных рабочих, крестьян, разбогатевших купцов это убогое, недоношенное «отнюдь».

Учительница в первом классе положила на парты какие-то листики и попросила детей перерисовать с них буквы в свои тетради. Букв было мало, и заскучавшая Алина украсила каждую завитушками в духе кельтского орнамента. Тетка-педагог пришла в гнев. «У нас урок чистописания, а не рисования», — заявила она. «Мне скучно тут», — выдала в ответ строптивая ученица. И училка: «Ишь ты: еще букв не знает, а уже умничает!»

Алина тогда сказала маме, что не хочет больше идти в ту школу. Буквы-то она знала все.

Я помню, как в девяностые в школах появилось новое поколение учителей. На смену одной старорежимной особе, не скрывавшей презрения кприхватизаторам и младореформаторам, приходили две-три молодые выпускницы пединститутов, менявшиеся с калейдоскопической быстротой. Вот говорят, что «отцы» обладают знаниями, а «дети» амбициями. Какие амбиция, когда зарплаты — копеечные! И опытные учителя, махнув рукой на служение государству, исчезавшему на глазах, выходили на пенсию — и к дачным огородам.

Родители водили своих отпрысков к бывшим русичкам, математичкам, географичкам, дававшим уроки на дому. У тех была репутация. И теперь — деньги. Молодые выпускницы пединститутов получали копеечные зарплаты и тихо ненавидели детей и сами школы. И при случае без всякого сомнения сваливали на другую работу.

А у тебя были репетиторы, Алина? Раньше этого стеснялись. Нельзя было в советское время служить в институте и давать частные уроки. Лишь под большим-большим секретом мой старший брат ходил к какому-то вузовскому математику, чтобы потом поехать в Москву и пробовать поступать в Бауманку.

О, раньше к двоечникам приставляли пионеров-отличников, и те помогали одноклассникам осваивать трудный материал. Или двоечников сажали за одну парту с отличниками. Двоечник старательно списывал у товарища и получал тройки, чтобы не портить учительное отчетность.

В твоё детство все переменялось. И чем ты наполнила его? Как тебе удалось так легко поступить в наш институт? Все-таки репетиторы?

Я вижу смешинки в твоих глазах.

К репетиторам ходит тот, кто в себе не уверен. Ведь это такое счастье — взять в руки книгу, раскрыть ее, прислушаться к запаху страниц, прежде чем начать чтение. Книжки пахнут совершенно иначе, нежели жизнь, все они — маленькие путешествия. Так зачем же человеку нужен посредник между собой и книгой? Зачем тот, кто станет указывать, на какой странице открывать чудесный мир, скрытый под обложкой, и сколько минут в день посвящать неизведанному?

Ты просто ходила в библиотеки и читала. А на репетиторов люди тратят немалые суммы.

Это верно, согласился я. На нашем курсе многие подсчитывали: репетиторы обошлись им в ту же сумму, сколько стоило бы платное обучение. И зачем же тогда волноваться, «тратить нервы», как выражаются интеллигенты в первом поколении? Проще сразу заплатить и спать спокойно.

А стипендия? Ведь бюджетникам платят стипендию.

Разве проживешь на эту стипендию!

И вновь смешинки, так и брызжущие из-под больших очков. Ты даже на всякие там ремонты класса, шторы, цветочные горшки на подоконниках никогда не сдавала деньги. И на подарки учителям. И на праздники. Классная руководительница сочиняла серьезные и убедительные записки для мамы, а ты их просто выбрасывала в мусорку, едва выйдя за порог школы. Пушкин, чей бюст стоял над входом и в честь кого была названа школа, только иронично взирал с высоты истории на переживания потомков.

Разве твоя мама не посещала родительские собрания? Нет, никогда. Ни в начальной школе, ни потом. Родительский комитет ее в глаза не видел.

Какая спокойная жизнь!

Верно. А классная повозмущалась и отстала.

Ты и на выпускной не стала сдавать деньги. Просто сказала, что денег нет, и не пошла на него. Мама недоступна, а с девочки взять нечего.

В ту дурацкую эпоху, которая закончилась с твоим рождением, детей организовано, классами водили в парк аттракционов. Всегда популярностью пользовался тир. Переламывающиеся посередине ружья-воздушки, стрелявшие маленькими свинцовыми пульками. Манящие призы. Мишени: бумажные, с круговыми линиями и черным полем в центре, и фигурные, в виде всяких бугылок, зайчиков, солдатиков... Недавно оцифровали старое видео и выложили в Сеть. Мы вместе посмотрели его. Психологи ставили эксперимент, чтобы проверить (или продемонстрировать) лучшие стороны советского воспитания. Ребенку давали в руки такое воздушное ружье и предлагали выстрелить в двух зайцев. Если он попадал в левого, то ему давали призовые — пять копеек. А если в правого, то пятак шел в фонд всего класса. И я помню, как ты смеялась над муками совести несчастных октябрят, поворачивавших ружье то влево, то вправо. Перед тобой такого вопроса и не стояло бы...

Когда нам на лекции рассказывали о «потерянном поколении», ты мотнула головой и заметила пренебрежительно: ерунда, никакого потерянного поколения не существует. Потерянность, в сущности, та же зависимость от чужого мнения. Кто не зависит, тот никогда не потеряет себя.

Осторожно, маленькими шажками я шел к пониманию тебя. Острый ум в человеке хорошо защищает его от чужого внимания. Ирония, самоирония, легкая язвительность, умелая перемена тем в разговоре — все это много лучше стальной брони. Лишь по прошествии месяцев и лет благодаря отдельным репликам и случайным замечаниям перед моим мысленным взором сложилась картина, да и то, несомненно, неполная, твоих детских лет.

2

Это у войны не женское лицо.

А у мира Алины — женское.

Ее лучшая подруга, та самая *лучшая*, какая только и бывает в возрасте восьми лет, — дочка батюшки Евфимия.

Фрося бойко читает на клиросе молитвы ко причастию, когда Алина вместе с мамой входят в храм. Кипит стройка, храм не восстанавливают из руин, а строят *новый*, на том месте, где раньше был пустырь и край города. Поэтому размах взят широкий: маленькая крестильная церковь, главная церковь, парк вокруг, здание будущей воскресной школы...

Детский голосок разносится над головами прихожан, а Алина завроженно стоит и смотрит на чтицу, которую едва видно из-за аналоя.

«Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойнее воспитамя. Душу мою обрати, наставимя на стези правды, имене ради своего...»

Мама подталкивает ее. Что стоишь? Иди свечку поставь!

После службы девчонки знакомятся.

Фрося, Фро, Ефросиния... Алина знает точно, что этот храм теперь *ее*, что у нее теперь есть подруга. Мама спрашивает, понравилось ли ей здесь. Алина кивает несколько раз.

Батюшка Евфимий приглашает чаевничать. Пока взрослые ведут неспешный разговор, девчонки шепчутся в уголке. Фрося объясняет Алине, что значат те певучие слова, которые она произносила на службе. Это же так просто! Пою Богу моему дондеже есмь... Господь умудряет слепцы: Господь возводит низверженные: Господь любит праведники...

Алина пробует повторить. Нет, ударение в другом месте надо ставить. А где? А вот тут. А ну-ка, еще раз!

Алина вздыхает, проникаясь величием своей подруги. Как это замечательно — говорить на церковно-славянском! Фрося, конечно, немного задается, потому что Алина не умеет так легко складывать вместе незнакомые буквы, но все же обещает поучить ее.

Внезапно выясняется, что на русском Фрося читает много медленнее.

Алина спрашивает, хвалит ли ее учительница. Фрося замолкает и отворачивается. Что такое? Алина пытается понять, чем обидела ее. Руки Фроси теребят листы богослужебной книги. Губы подрагивают. Что такого она сказала? К ней, например, учительница относится по-разному. То обдаёт внутренним холодом и непонимающе смотрит, когда Алина делает или говорит что-то, а временами будто жалеет. Хотя учительница

не умеет рисовать такие замечательные картины, какие рисует мама, и потому Алина не обращает на ее показные вздохи и фальшивые улыбки никакого внимания.

Фрося признается, что не ходит в школу.

Разве так можно? Все дети ходят в школу, даже самые дураки. Алина морщит лоб, обдумывая информацию. Представляет, что было бы, не ходи она сама в это здание с обрутком Пушкина над входом. Наверное, ничего бы не переменялось. Все бы пару дней интересовались, почему пустует ее место в классе, а затем успокоились бы. И на ее место посадили бы Светку, которая плохо видит с задней парты. В школе у Алины подруг нет, поэтому особенного шума ее исчезновение не произведет.

Алина трогает Фросю за руку и ободряюще говорит, что тоже не любит школу. Фрося едва не плачет.

Ничего-то она не поняла! Фрося очень хочет учиться, только ее не пускают. Говорят, что в школе одни искушения и грех.

У Фроси есть тетя, которую зовут строгим именем Анна. Тетя очень боится, что не сможет подготовиться к последним временам и приходу Антихриста. Поэтому она ревностно следит за собой и помогает матушке Фроси воспитывать ее детей. Огромным уважением у нее пользуется серьезная книга, выпущенная в Москве. В ней подробно рассказывается о том, как следует вести себя добропорядочному христианину.

Я тоже помню эту книгу — страниц на двести-триста, в скромной серой обложке. Когда говорю об этом Алине, она заразительно смеется. «Ты ее тоже читал?» — «Не в детстве, конечно». — «Ой, кто всю эту чушь придумал?» — восклицает Алина, и по ее искреннему смеху я понимаю, что она давно уже все и всех простила.

Кстати, автор книги уверял читателя, что смеяться грешно. Будто наши родители, которые часто цитировали советскую мудрость: «Смех без причины — признак дурачины». Так это без причины! А как быть, если причина находится?

Любая причина — от бесов, уверен автор. Вместо того, чтобы искренне печалиться о несовершенстве земного мира, человек веселится и не замечает, что жизнь его земная проходит, будто вода меж камнями. И на Страшном суде нечего ему будет сказать в свое оправдание, кроме того, что он ржал как конь. Мы оба смеемся. Одногоруппники оглядываются на нас в недоумении и заинтересованно просят пересказать анекдот.

«А еще нельзя пить чай», — вспоминаю я. — «Да, да, точно, и кофе тоже нельзя». — «Я еще подумал, когда прочитал: а что же можно пить? Чистую воду?» — «Наверное, соки еще можно. И компот». — «А помнишь, как надо ходить по улице?» — «О да, матушка Анна мне все уши прожужжала...»

По улице надо ходить, опустив глаза, но не очень. Если человек смотрит вниз, то он символически показывает, что не думает о небе, а на небе Бог. Поэтому тупо вниз смотреть нельзя. А вверх все время тоже нельзя смотреть. Над человеком постоянно вьются бесы, которые стремятся уловить его душу через греховные помыслы. И если человек будет на них смотреть, они его захватят и полонят навечно.

Куда же тогда смотреть? Этот вопрос озадачивает девочек. За разъяснениями, посоветовавшись, они отправляются к батюшке Евфимию, отцу Фроси. Батюшка, бегущий со службы на требы, на ходу ласково треплет волосы дочери и скороговоркой произносит: внутрь себя надо смотреть, а не по сторонам глазами шарить.

Смотреть внутрь себя помогает Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!.. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!.. Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!.. И так до бесконечности...

Алина и Фрося соревнуются, кто больше раз прочтает молитву. «У меня двести!» — внезапно восклицает Фрося. Непосвященный ни за что не поймет, о чем она. «А у меня двести пять», — торжествующе заявляет Алина. — «Ты врешь, я быстрее читаю», — не соглашается Фрося. Потом она раскрывает тайный замысел подруги. На исповеди Алина сознается, что говорила неправду, и батюшка назначит ей земные поклоны. А во время поклонов молитва творится сама собой. И у нее будет больше прочитанных молитв. «Ну и что, я тоже могу выдумать, — обиженно говорит Фрося, — а Иисусову молитву я и сама дополнительно прочитаю».

В доме у батюшки нет ни кукол, ни светских книг. Матушка Фроси и матушка Анна следят за тем, чтобы мирской грех не ранил детей. Старший брат Фроси ходил в школу, потому что в советское время за этим бдительно следили, а Фрося избавлена от греха. «Барби ни к чему хорошему не приведут, — убеждены матушки, — искушение одно».

Однажды Алина принесла в институт куклу своего детства. Вытащила из наплечной торбы и показала мне под партой. Шла лекция по основам мировой культуры, и кукла пришлась кстати. Я вертел куклу в ладонях и не мог понять, что за дикая фантазия посетила ее создателя. Затем, присмотревшись, различил фабричные и рукотворные детали. Неведомая рука исправила кукле лицо, приведя его в благочестивый вид, прикрыла роскошные волосы приличным скромной девушке платком, а бесстыжую юбку заменила на такую, чтобы в пол.

«Это православная Барби», — пояснила Алина. — «А разве бывает такая?» — «Еще как бывает! Бабушки дарили мне и знакомым девочкам куклы, а они все как одна оказывались развратными. Матушки их грозились выкинуть, а мы — в рев. И бабушки обижались. Чего это вы дитяток заставляете на камнях стоять и молиться, говорили, будто подвижников, когда им в куклы надо играть?! Вот и нашли выход. Матушки несли куклы к Валечке, а она их исправляла. Каких только Барби я не перевидала!» Я удивляюсь: «Трудное православное детство? Деревянные игрушки?» Она кивает. У Фроси вообще кукол не было. Алина вместе с подружкой мастерили куколок самостоятельно. Маленького размера, из цветных ниточек, чтобы можно было спрятать в спичечный коробок. Куколок обнаруживали и выбрасывали, а они делали новых...

Ох уж это сладкое слово *искушение*! Оно подстерегает человека на каждом шагу, и надо быть внимательным, чтобы не поддаваться ему слишком часто. Алина много думает о том. Ее учебники, которые она показывает подруге, становятся искушением? Или же не становятся? Разве может быть знание искушением? Вот их знакомая Светлана, которую всякий раз причащают под именем Фотинии, очень умная девушка. Светлана захаживает в дряхлый домик, где живут Алина с мамой, рассказывает о шумерской культуре и о том, как она хочет выучить пару древних языков.

Светлана-Фотиния так увлекательно рассказывает о холме Варка, о городе Урук, которому то ли тридцать, то ли пятьдесят веков! От нее Алина узнает слово «генезис». В последующем она подмечает, что все, кто его произносит, ставят ударение на предпоследний слог, как в латыни. Светлана-Фотиния всегда ставила на первый, как в греческом. Так — правильно, а на предпоследний — нет. Еще она показывает иллюстрации в книге

о раскопках. Лепные сосуды изумительной красоты. Черный и оранжево-красный орнамент, покрытый глазурью. Завораживают геометрические фигурки и изображения птиц, животных, людей. Мама Алины тоже впечатлена.

Светлану-Фотинию постоянно хочется обнять, чтобы прижаться к ней щекой, вдохнуть бесконечно весь этот аромат молодости, учености, жизнелюбия. Однако их знакомая, в которую Алина влюблена бесхитростной детской любовью, строга и не допускает слишком частых телячьих нежностей. Зато она снабжает Алину интересными книжками. «Легенды и мифы Древней Греции» Куна, «Метаморфозы» Овидия, «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева... Даже в ефремовскую «Таис Афинскую» Алина заглядывает, пытаюсь осознать некоторые нюансы отношений между мужчинами и женщинами. Среди прочих сокровищ — словари и учебники по церковно-славянскому и греческому.

Светлана-Фотиния очень умная. Наверное, самый интеллектуальный человек в окружении Алины. Она доучивается в магистратуре в Санкт-Петербурге и собирается скоро лететь в Афины, чтобы что-то там раскопывать или реставрировать. С этого момента Алина не отрывается от грамматики греческого языка, ей хочется после неминуемого отъезда предмета своего обожания иметь хоть что-то, что с ним связано.

В свою школу Алина ходит редко. Школа представляется ей самым бесполезным местом на земле. Посещать ее, конечно, нужно, потому что иначе ей не дадут документ, с которым она сможет поступить в институт, чтобы стать такой же умной, как Светлана-Фотиния.

Я представляю эмоции учителей Алины! Очень странная девочка: прогуливает занятия, никогда не предоставляет справки от врача или от мамы. При этом не дерзит, ровно выслушивает замечания в свой адрес, даже соглашается с ними. На второй год оставить или отчислить — не получится, потому что девочка учится хорошо, время от времени удивляет знаниями, которых нет у ее одноклассников. Такую проще оставить в покое, предоставив ей возможность жить, как самой заблагорассудится.

В советское время Алину бы поставили на учет в комиссии для несовершеннолетних, а маму, чего доброго, лишили бы родительских прав. Но прежняя эпоха ушла, учителям теперь важнее о себе подумать, чем разбираться со странностями учеников, которые никому, в сущности, не мешают. Да и учителя ли они? Алина куда больше получает от чтения книг в детской библиотеке. Проглатывает все подряд. Когда детская областная заканчивается, приходит в юношескую. Библиотекарь смотрит на нее с изумлением, но отказать боится. Возраст маловат, но ведь в смутные девятностые в библиотеки вообще мало кто заглядывает, каждый гость на счету. В виде исключения ей разрешают не брать книги на дом, но приходиться и читать в зале.

Алина в восторге. Потом она как величайший праздничный день в своей жизни станет ждать совершеннолетия, чтобы записаться во взрослый книжный храм.

У меня дома много книг. В библиотеке я брал только приключенческие романы Жюль Верна и учебники по шахматам. А дома читал все подряд, полку за полкой. Собрание сочинений Тургенева, Некрасова, Сергеева-Ценского... Еще Достоевского книг пять или шесть... Историю Второй мировой войны с замечательными картами сражений... Для шестого-седьмого класса не совсем подходяще (кроме карт, конечно), но что поделать, ум безостановочно требовал все новых впечатлений.

Наверное, это обстоятельство повлияло на ее решение немного приоткрыть свою внутреннюю жизнь мне.

«А твою подругу пустили все-таки в школу?»

Да, на следующий год Фрося выпросила себе подарок: пошла сразу во второй класс. И затем еще несколько раз перепрыгивала через ступень. Правда, по церковным праздникам и великим датам в школе не появлялась. Какая может быть учеба во время Страстной Седмицы или на Пасхальной неделе? Да и вообще она во время постов в школу не ходила. Впрочем, к этому учителя быстро привыкли.

«Где она сейчас?»

У Фроси все хорошо. Если детям качественно не позволять делать что-то, их мотивация увеличивается с каждым днем в геометрической прогрессии. Фрося получила медаль в школе, а потом — три высших образования. Сначала филфак, затем факультет иностранных языков, а параллельно еще магистратуру в РГГУ прошла. Ничего себе. Воистину матушки не предполагали, к чему приведет запрет на куклы и учебники!

А вы с Фросей не соревновались, кем станете? Знаешь, как в советское время: космонавтом, балериной, геологом... Ведь должен человек *кем-то* стать? У нас на курсе половина случайных людей. А ты пошла в институт для чего?

Она не отвечает на мой вопрос.

И еще одно женское лицо в галерее Алины.

Двадцать первое столетие. Столица Чехии. Около фонтана с затейливым названием «Писающие мужчины» толпятся зеваки. Средняя, так сказать, часть мужчин изящно двигается, выписывая по карте Чехии какие-то слова. Поворачивается туда-сюда, и довольно естественно.

«Говорят, мудрые высказывания, но проследить невозможно», — с сожалением изрекает одна женщина. У нее короткое каре-шапочка под Мирей Матье, круглые близорукие глаза за очками в черной оправе, одета она в зеленую футболку и черный джемпер.

Другая, это Алина, согласно смеется. Так, как умеет только она: смехом-колокольчиком девочки, в который вплетены нотки повидавшего мир взрослого существа.

Они знакомятся и вместе бродят по окрестностям. Винарна Чертовка, самая узкая улочка столицы, с двумя светофорами по концам, чтобы не устраивать давку среди несчастных туристов. Музей Франца Кафки. Набережные. Карлов мост.

Новая знакомая Алины иронична и остроумна. Алина помнит, как от души веселилась над ее короткими зарисовками монастырской жизни, случайно взяв в руки толстый московский журнал. Это божественная, волшебная, ни с чем не сравнимая Зоя Винарская. Как смогла она заглянуть в тот мир, что по обыкновению скрыт от мирских взоров?

«Я могу предположить, что Вы тоже пишете, Алина, — замечает Зоя после получаса общения, — в Вас хорошо развита наблюдательность. Все это, конечно же, требует выхода...»

Нет, она никогда не писала. Только читала.

«Замечательная антитеза, которая лишь доказывает скрытый талант. Надо обязательно развивать себя. Надо пробовать... Это в совке люди ходили строем и делали только то, что приказывала партия. Наступили новые времена. Надо надеяться, окончательно».

Да, иначе они бы не гуляли так спокойно по Праге. Говорят, раньше было сложно выехать за границу.

«Даже передать сложно, как сложно, простите за каламбур». Алина, конечно, уже родилась, но была слишком мала, чтобы знать такие подробности: об обмене вечно отсутствующей валюты через Банк, о двух видах — въездной и выездной...

Выездной?

«Да, именно. Вас должны были еще выпустить, прежде чем вы въезжали куда-то...»

Алина внимает. Более десяти лет она обитала в параллельном мире. Горбачев, Ельцин, Путин — все это ее мало интересовало. Или, точнее сказать, не интересовало вообще. Президент, в подпитии дирижировавший оркестром на аэродроме? Нет, не слышали...

3

Принадлежность к православию в ельцинские годы — отчасти признак духовной элитарности. Казалось бы: еще лет десять-пятнадцать назад взрывали церкви (те, что не поддавались обычной разборке на кирпичи, полезные в хозяйстве), а тут вдруг начали поговаривать об уроках церковно-славянского языка в школах. Преподаватели институтов задружили с батюшками. «Слово о законе и благодати» оказалось не просто лингвистическим памятником древнерусского языка, а духовным текстом. «Поучение» Владимира Мономаха — не только свидетельство живой, а не книжной речи, но и отображение мирянской религиозности...

Не все так считают. Скептически вздыхают бывшие диссиденты. Их противостояние советской власти всегда было исключительно зеркальным. Если партия утверждала, что облака белые, они тут же опровергали это утверждение и называли облака черными. А если государство заявляло о безупречной нравственной чистоте строителя коммунизма, они дружно хихикали и намекали в кухонных разговорах на наличие у объекта осмеяния любовницы и трех внебрачных детей. Православие всегда было вне их интересов. Поэтому поклонники Сахарова и Боннэр примеряются скорее к Рерихам, к католикам, а то и к адептам седьмой астральной сферы.

Я оборачиваюсь в те годы и думаю: как же устояла тогда наша церковь? И устояла не под натиском врагов, а под наплывом множества случайных людей.

В Юрьеве после войны работали всего три церкви. Две в историческом центре и одна на окраине. Все — памятники архитектуры прошлого. Не такого уж далекого, разумеется. Этого факта — что храмы и есть русская история — в эпоху социализма признавать было никак нельзя.

Например, небольшой храм на исторических косогорах правого берега, видевший крещенье народного поэта Калинина, как бы даже не существовал. Памятник XVII века, а по виду — сарай или заводская мастерская.

Живые, действовавшие храмы были моложе. Один строил известный московский архитектор-модернист, два других возвели в модном новорусском стиле начала прошлого столетия. Об архитектуре говорить разрешалось, а далее заглядывать не рекомендовалось.

И вот: храмы-то возрождать начали, а где для них священников взять? Митрополит Евгений с губернатором и градоначальниками дружит, духовное училище в семинарию превращает, а как из вчерашних ате-

истов верующих сотворить — не знает. И никто не знает. На вид священствующих и монашествующих все больше становится, да только кто там сидит внутри у них, поистине один Бог ведает.

У нас на факультете двумя курсами младше учится Даниил. Худощавый, с длинными волосами. Он на заочном, но захаживает к дневникам и в октябре, и в декабре, и в апреле. Сидит на лекциях, слушает. У Даниила бесноватые глаза. Он хочет выразить свою мысль, смотрит на тебя, потом с едва заметной, стремительной улыбкой переводит взгляд в сторону, потом снова виновато взглядывает на тебя да так, будто только что обмолвился о маленькой постыдной тайне и теперь ищет в тебе осуждения.

«Я в Серафимовском монастыре подвизался», — признается он и следит за реакцией собеседника.

Кем он там был? Сначала послушником, несколько лет. Потом влюбился в мирянку и ушел. Пожил с подругой пару месяцев и — вернулся в монастырь. Через год его постригли в монахи. А он снова сбежал в мир. Сейчас работает на телевидении чернорабочим.

«Я его видела в монастыре, — говорит Алина, — он экскурсии водил».

Правда? Расскажи мне об этой стороне своей жизни, Алина. В монастырях ведь — молитвенное стояние за страну свою, за родных, близких, друзей, за всех-всех-всех?

Я отматывал обратно хронику твоей жизни.

Тебе восемь лет. Мама поглощена новой картиной. Ты, вняв словам отца Евфимия на проповеди, решаешь подражать тем, кто *в подвиге* ближе прочих приблизился к Богу. Так как окружающая действительность радует только количеством сожженных коммерческих ларьков да бесстыжими первыми полосами желтой прессы, ты сама отправляешься на автовокзал и едешь к мощам батюшки Серафима, великого подвижника здешних земель.

Водитель междугороднего автобуса потрясен до глубины души, обнаружив тебя в салоне. На тебе глухой серый платок, длинная юбка, кофта, а сделать благочестивое выражение на лице ты умеешь в две секунды.

Да кто вообще разберется, куда и откуда по Руси великой движутся калики перехожие... Ты поешь ему канты и развлекаешь всю дорогу, сидя рядом на особенном кресле, предназначенном не для пассажиров, а для напарников во время длительных рейсов.

Постепенно тебя узнают все водители, едущие из Юрьева в Тешев. Возят тебя бесплатно и еще денег дают, чтобы ты за них свечку поставила в монастыре.

Возрождаемая обитель — мужская. Матушки из соседнего скита помогают готовить и убирать. Трудники копошатся на строительных лесах внутри главного храма. Немногочисленные монахи выстаивают службы и водят любопытствующих по огромной территории, где еще остаются и частные дома тешевцев, и картофелехранилище местной психиатрической больницы, и ее лечебный корпус.

Ночевать негде, но ты знаешь, что Боженька не оставит, а потому легко находишь себе место для сна. Отец-эконом посылает тебя в Казанский собор, благословляя на ночлег на старых матрасах, сваленных в кучу наверху. Сначала внизу, в уголке на клиросе. Затем, когда постепенно снимают строительные леса, на втором этаже обнаруживается огромное пространство.

Лучший сон на земле — в храме, почти под куполом. Ночью пространство собора наполнено космосом. Лунный свет дрожит на полу. Святые смотрят со стен. Их лики проступают все отчетливее и отчетливее. Алина десять, когда ей доверяют писать орнамент. Не самой, конечно, — по художническому шаблону. Огнь в ней всегда пробуждается сладкое ощущение на службе. «Строителей, благоукрашителей, жертвователей святого храма сего, труждающихся и поющих в нем..., да помянет Господь Бог во Царствии Своем», — произносит владыка Тихон звучным голосом на литургии. И она знает: это и про нее тоже.

А не жутко ли было тебе спать там, Алина? Ты ведь одна, на большой высоте, внизу — мертвые мощи, вытасценные из земли и положенные в храме...

Мертвые? Нет, нет, они живые. Они будто разговаривают с теми, кто хочет их услышать. И еще святитель Серафим, чья рака находится в центре собора, — добрый. Алина уверена в этом, потому что сама разговаривает с ним, когда не идет сон.

Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешную... Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешную... Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешную... Туман повседневности рассеивается, мысли дышат ровным светом, пальцы сами собой перебирают бусинки на четках. Иногда она просыпается в предрассветный час и слышит тихий голос чтеца, произносящего слова неусыпаемой Псалтири. Вслушивается в них и снова погружается в мягкую трансцендентность молитвы, сна, лунного света и общения со святыми.

По утрам в огромном соборе бывает холодно и зябко. Братия встает на полунощницу. И Алина, глядя на них, вскакивает на своей высоте и начинает класть земные поклоны. Распрямил спину, перекрестил себя, сделал низкий поклон, упал на колени, стукнулся лбом о каменные плиты, вскочил — и так раз за разом: пять, десять, пятнадцать раз...

«Бодрит лучше любой сурьи-намаскар», — смеется Алина.

И сейчас она заново проживает те ощущения, вижу по ее глазам.

Что влекло всех нас в монастыри? Замечательные книжные лавки?

Алина понимающе кивает. Я помню, как всякий раз входил, наклоняя голову, под низкие своды небольшого домика слева от Георгиевского храма, а в сердце теплилась надежда увидеть новую книгу Андрея Кураева или очередной томик митрополита Иоанна, которого в девяностые стали называть «совестью русского народа». Однажды я купил православный путеводитель и поехал с ним в путешествие — в Звенигород, в Переславль-Залесский, в Александров...

«Есть прихожане, а бывают и захожане», — всякий раз беззлобно подтрунивал надо мной брат Иларион, замечая в церковной лавке. И спрашивал иногда, *кто* я. И я задумывался о том, *кто* я. Не по имени, конечно: у брата Илариона была отличная память. Он на другое намекал. Вот живет человек на земле: ходит, дышит, разговаривает. А какая от него польза окружающим? Даны ему Богом дары, а на что он их употребит? И даже если все для себя — разумно ли распорядится ими?

Оказывалась ли она когда-либо перед таким выбором? Спрашивал ли кто-нибудь у нее: *кто* она?

К батюшке Евфимию заглядывают разные люди. Дом у него открыт для своих по духу. Часто бывает отец Василий, который служит в малюсенькой церковке в деревне рядом с Юрьевым. Алина дружит с его дочками: Машей и Олей. У Маши возникает полезная идея — помочь в вос-

становлении монастыря в меловых горах. Легочный санаторий переезжает отсюда на новое место, а монашеская обитель трудится не покладая рук, изгоняя из своих стен медицинский дух.

Они все вместе едут в монастырь. По дороге мама Алины беседует с матушкой Анной о конце света, которого ждут в двухтысячном году. Люди в автобусе косятся на них, но слушают внимательно. Обстановка в стране такая, что в апокалипсис поверить очень легко. «Старцы рассказывали, — вещает матушка Анна, — что перед всеобщим концом будет краткий период иллюзии. Людям покажется, что все хорошо, они успокоятся, а тут нечистый их и станет улавливать в последней надежде». Кто эти самые «старцы», она не поясняет, но возражающих нет. К разговору подключается мужчина, вспоминая дьявольские происки в образе ИНН. Автобус гудит.

«А в монастыре старцы уже есть?» — спрашивает Алина. Вот в Тешеве живет схимник, который питается хлебом и водой. Сама Алина его не видела, но точно знает, что старец сидит в замкнутой навсегда келье.

Маша оживает и рассказывает свою историю. Из монастыря, куда они едут, в советское время выгнали всех монахов. И тогда они спрятались в пещерах, которые выкопали для себя в меловых горах. Добрые люди передавали им еду и одежду. Приходили ночью и клали у входа, а на утро уже ничего не было. Если посмотреть с другого берега, то видны огоньки в этих пещерах. Поэтому все ждут, что монахи снова выйдут к людям и вернуться в монастырь. Один человек засомневался в существовании тайных монахов, а они ему возьми да приснишь! Явились во сне три схимника в клобуках с черепами и спрашивают так строго: «Веришь ли в нас?»

Нужно быть внимательными, убежденно говорит матушка Анна. Скоро всех расстреляют. Автобус вздрагивает. Пассажиры внимательно смотрят на матушку, требуя пояснений.

Матушка Анна ссылается на знакомого монаха. Тот уверял ее, что наступившие послабления — обман дьявола. Не может такого быть, чтобы государство вдруг сошло с ума и стало выделять земельные участки под православные храмы и деньги на восстановление святынь! Вон, в Юрьеве в центральном парке вдруг затеяли строить огромный собор. Ох, не к добру такая щедрость. Градоначальник — коммунист, а в парке церковь строят... Поэтому надо радоваться, как в акафистах поется, но быть готовым ко всему. В Сибирь уже ссылать не станут: что там страшного! Города в сто раз лучше их Юрьева. Поэтому всех православных просто расстреляют. Скоро, скоро начнутся гонения...

Алина *раньше* не жила и оттого спокойна. Она вместе с Машей и Олей драят дочиста бывшие лечебные палаты, в свободное время карабкаются по меловым скалам, гуляют по полям, наслаждаясь ароматами трав и раздвигая ногами серебристые волны ковыля.

Маша влюбляется в молодого симпатичного послушника, отца Никодима, у которого мушкетерская борода, рокерский хвост на затылке и смущенная белозубая улыбка. Маша сама жутко смущается, когда отец Никодим угощает ее привезенным из сельского магазина мороженым и зовет на прогулки. Все вместе они ходят к меловым пещерам. Алина тоже стесняется его, но это чувство быстро проходит, когда она выпытывает, что отец Никодим до послушания слушал «Аквариум» и «Наутилус помпилиус», а также катался автостопом на Казантип в Крым.

«Сколько Вы катались по монастырям, деточка?» — спрашивает божественная, волшебная, остроумная Зоя Винарская.

Алина вспоминает. Она жила в монастырях с восьми до пятнадцати... Закончились эти поездки весьма странно. Об этом она шепотом рассказывает мне, когда однокурсницы обсуждают свой первый секс.

Затекает двусмысленную беседу Кристина. Про нее сплетничают, что она спит с молодым преподавателем с кафедры лингвистики, потому что количество серых клеточек в ее голове не позволяет самостоятельно написать курсовую. При этом Кристина ничуть не смущается подобной славы, а словно бы даже и бравирует ею в узком кругу.

Недавно мы изучали «Декамерон», и Кристина, вдохновленная его третьим днем, решает от скуки подразнить скромницу Алину, которая на занятиях сидит в православном платке и регулярно отказывается пить пиво после пар.

«Шел однажды мужик мимо женского монастыря, — вещает она, — а на дверях объявление висит...»

«На дверях или воротах?» — уточняет Алина.

«Да ладно, без разницы, — отмахивается Кристина, — главное — суть объявления. Короче, за секс с монахиней надо заплатить три сотни баксов, и все будет в ажуре. Короче, мужик этот заходит и спрашивает, что да как. К нему из кельи выходит симпатичная монашка, берет деньги и говорит: она, типа, сейчас приготовится, а он пусть идет по коридору вон в ту дверь и ждет. Мужик быстренько бежит в указанную дверь и — оказывается снова на улице. Опа, и дверь за ним закрылась на замок».

«Ну и?» — недоумевают подружки.

Кристина выдерживает мхатовскую паузу и заканчивает анекдот:

«А на второй двери тоже надпись: “Сегодня Вас поимела монахиня Елпидифория”».

Я смотрю на Алину.

Алина безмятежно улыбается и рассказывает свой анекдот:

«Идет одна студентка по коридору, и видит преподавателя. А преподаватель весь такой симпатичный, прямо ни словом сказать, ни пером описать».

И студентка ему говорит: «Евгений Иванович (так зовут молодого преподавателя с кафедры лингвистики), а Вы каких студенток любите — темненьких или светленьких?»

А Евгений Иванович ей отвечает: «Я люблю умненьких, но Вам это не грозит»».

Я показываю Алине большой палец...

У подружки Маши очень строгая мама. Она не любит, когда ее дочь тратит время впустую, и потому категорически запрещает ей болтать по телефону. Алина и Маша обмениваются письмами. Каждую неделю они отправляют друг другу конвертики с самыми искренними посланиями.

Послушник Никодим не забыт. Маша в каждом письме восторгается его рассказами, описывает то, как он говорит, как ходит. Отец Василий бывает в монастыре и иногда берет с собой дочку. Тогда у Маши праздник. И следующие три или четыре письма наполнены ее наивными сердечными излияниями.

Алина же, перейдя в восьмой класс, каждый день читает «Доброто-

любие» и упражняется в Иисусовой молитве. Алина готовится стать инокиней.

Они с мамой перебрались на другую съемную квартиру, поближе к больнице. У ее Валечки нелады с желудком, она часто ложится на обследование и разные процедуры. Несмотря на это, мама держит посты до последнего. Алина вместе с ней.

Послушник Никодим едва ли не каждую неделю бывает в Юрьеве по монастырским делам. Всякий раз он заходит в гости и пьет чай с пряниками, сидя на кухне. Об этом Алина не упоминает в письмах к Маше. Почему, она и сама не может объяснить.

Год спустя послушник Никодим превращается в иеродьякона, а Алина по-прежнему готовится к монашеской жизни. Грозный настоятель Серафимовского монастыря, которого знает вся их область, энергичный, громогласный архимандрит Петр уже подобрал ей иноческое имя — Ангелина. Причащая Алину во время литургии, он всякий раз произносит его. Это заставляет сердце Алины трепетать.

К Петру за послаблением обращается ее мама. У Валечки закончились силы держать строгий пост, вот она и просит разрешить ей хотя бы изредка молочное. Боится, что желудок окончательно взбунтуется и сведет ее в могилу.

Сколько раз сама Алина, приходя на пары, отказывалась от скоромного! Мы жевали в перерывах бутерброды с колбасой, а она только улыбалась. Была ли ей необходима такая строгость по отношению к себе? Или же и она, и Валечка противопоставляли себя тем женщинам, которые, приходя в храм, начинали судить, рядить и устанавливать порядки по собственному разумению?

Многие при этом ссылались на мнение бабушек, которые неискушенными прихожанами воспринимались едва не как старицы, к которым следует прислушиваться.

Однажды мой знакомый священник с легкой улыбкой спросил: уверен ли я, что бабушки все знают, если они сами возрастали в советское время, были пионерками, комсомолками, жаловались на мужей в партком?..

Я помню, как этот же священник внезапно прервал службу, так что все вокруг вздрогнули, в гневе пролетел через полхрама и обрушился на известную всем повариху, которая вздумала учить незнакомую женщину правилам поведения на литургии. «Ты кто такая? Кто тебе дал право мешать людям молиться? Ты хозяйка здесь? Нет, здесь я настоятель и я хозяин! Сколько раз говорил тебе не приставать ни к кому с поучениями?!»

Потрясенная повариха осела на лавочку, а разгневанный настоятель вернулся к службе. Более всех заступничеством была изумлена женщина, которая до этого *неправильно* поставила свечку и вообще *не туда* *встала*.

Что поделать! Из телевизоров мутной рекой лилась зараза агрессивного феминизма. Писательница Курбатова, требовавшая вывода советских войск из Литвы, вела на федеральном телеканале передачу «Право быть женщиной». Писательница Акулинина воспевала в детективах Дашу Поленскую, которая преспокойно помыкала гражданским мужем (почти Нобелевским лауреатом) и расследовала такие сложные дела, которые не могли потянуть мужчины-следователи со всей Москвы. Куда уж тут до женской скромности! Сплошное самочиние...

Выслушав просьбу Валечки, архимандрит Петр покачал головой и сказал: «Искушения тебя мучат, Валентина, вот и болит твой желудок. Ты ведь и одно хочешь, и другое, и третье. А смиренность в тебе мало. Поэтому благословляю тебя на монашество».

Ее мама станет монахиней.

Это новость ошеломила Алину. Ни она, ни сама Валечка не предполагали такого исхода.

Было ли страшно тогда, Алина? Как же это — оставить живопись, друзей, знакомых, затвориться от всего привычного?

А в то же время: что такое *привычное*? Курение, сплетни, мшелоимство тоже привычны. А если к тому прибавить модную прокрастинацию? От таких привычек бежать надо сломя голову.

Как бы то ни было, мама готовится к постригу. Иные ждут его по десятку лет, а архимандрит Петр благословил сразу в мантию. Идет Великий пост, еще три недели до Пасхи. Монашескую одежду уже шьют. Валечке немного за тридцать, но ее это сильно не печалит. Скоро конец света, и молодость ей не понадобится. Авторитет владыки Петра столь высок, что сомнения быстро рассеиваются. Лучше умереть в монашестве, чем просто так. Да и дочь свою она вымолит у Бога. У Алины тоже начинаются проблемы с желудком.

Потом архимандрит, подумав, уточняет свое благословенье. Валечка будет монахиней в миру, она останется в Юрьеве, и будет писать иконы для церквей. Алина, которая тоже готовится к монашеству, мечтает, как здорово было бы вместе жить в обители.

Пока же она живет у отца Евфимия. Сняв рясу, тот оказывается очень теплым и душевным человеком. За домом он расчищает от травы большой круг, вечерами устраивает посиделки у костра. Он, Фрося и Алина сидят у костра, и едят вкуснейшую на свете печеную картошку, и говорят о всякой всячине, и у Алины возникает чувство, будто батюшка и есть ее настоящий отец, которого она никогда в своей жизни не знала. Алина отогревается в его тепле.

А диакон Никодим по-прежнему заглядывает на чай и угощает шоколадными батончиками. Переписка с Машей прерывается. Не по вине Алины, но она не хочет думать о причинах этого.

Однажды Никодим привозит с монастырской пасеки медовые соты. Алина и Фрося сидят на кровати и едят лакомство, а Никодим напротив наблюдает за ними. Алину от волнения подташнивает. Или же это желудок?

А еще они иногда гуляют по окрестным перелескам и полям. Церковь, где служит отец Евфимий, находится на самом краю Юрьева. Тут почти деревенская благодать. Каменные джунгли еще не пришли к ним. За вторым полем спрятан небольшой овражек. Алина и Никодим зачем-то лезут через него, и он подает ей руку. Потом они так и идут, не разнимая рук, пока не спохватываются и не отодвигаются друг от друга на полтора шага.

Жизнь ее бежит ручейком — тихим, спрятанным среди травы и больших деревьев, но ни на миг не останавливающимся, неутомимым, настойчивым. Никодим, превратившийся в иеромонаха Алипия, берет ее с собой, когда служит в окрестных деревнях. Священников не хватает, а он очень красиво служит, и она красиво поет. Деревенские тетki перед исповедью перешептываются. Случайно Алина подслушивает их шушуканье. Ей становится неприятно, что теток волнует исповедь именно у Али-

пия. Будто бы каждая из них испытывает тайное, запретное волнение перед тем, как рассказать о чем-то.

Алина бросает эти поездки и занимается учебой. Все-таки десятый класс идет. Как-то в декабре она возвращается с районного рынка. Бабушка в больнице, мама ушла навестить ее. Под ногами лед, Алина поскользывается, но не падает, потому что чья-то рука поддерживает ее. Даже не оборачиваясь, она знает, кто рядом с ней. Мир вокруг приобретает стеклянную прозрачность. Что-то такое и должно было произойти.

Они идут в магазин, чтобы купить пряников к ужину. Затем сидят на кухне и молча пьют чай. Потом начинают разговаривать. Оба стараются не касаться друг друга даже случайно. Однако случайность все же происходит. На улице слышен салют, кто-то взрывает петарды. Алипий поднимается и хочет выглянуть в окно, при этом он задевает своей рукой ее руку. В стеклянном прозрачном мире тоже пробегают искры. Оба отшатываются друг от друга. Алипий набрасывает на себя пальто и убегает.

«Вот таким и был мой первый секс, — смеется Алина, — но Кристи не все равно этого не понять».

5

Зоя Винарская потому и волшебна, что описала все в «Современной агиографии». Как точно она изобразила и непроходимую тупость новых семинаристов, ночами напролет зубрящих «Типикон» и мечтающих о скорой карьере, и фарисействующих до самых крайних пределов жестокости архиереев, играющих судьбами подчиненных, и легковверных клуш, пытающихся осветить свою мирскую сущность хотя бы легким отблеском чужой святости!

Алина вспоминает читанные в детстве приторно-сладкие книги для православных детей и начинает смеяться. Все точно, так точно, что диву даешься! Сколько людей, убивших годы жизни на ИННкампанию, она видела вокруг себя! Сколько теплохладных умников начало виться вокруг нее, когда девочка повзрослела! Никодим ведь именно такой — теплохладный. Какое счастье, что ей хватило своего ума понять это. А как поняла, так и разочаровалась. Никодим, превратившийся в Алипия, сделался скучным до невозможности. Постоянно бубнил одно и то же. Мальчики в институте, куда она поступила, оказались более интеллектуальными. Они о разных вещах могли рассказать, а Никодим... Вот убей ее Бог, не воспринимала она его как Алипия! «Никодим — всем необходим», так точнее, если иметь в виду очарованных им теток, подходящих с розовыми щечками на исповедь.

Зоя Винарская про таких тоже написала. Жила-была тетка, а батюшка ее до самоубийства заисповедовал. А еще у Зои есть невероятная сказка про православного медвежонка, который решил крестить зайчика. Вот он зайчика в речку окунул, и давай молитву читать. Пока читал, зайчик-то и захлебнулся. Мораль всем ясна.

«Вам обязательно надо самой писать!» — говорит задумчиво Зоя Винарская.

Алина трясет головой. Разве умеет она *так* писать?

Как *так*?

Как в «Современной агиографии», и как в «Боге ливня», и как...

О, вовсе нет, *так* писать, разумеется, не следует. Не потому, что *так* писать способен лишь один человек на свете. Разумеется, дело в другом.

Пусть Алина найдет *свой* стиль, передаст читателю результаты *своей* наблюдательности.

Получится ли у нее? Непременно получится.

Алина напрягает память и вдруг в сознании всплывает сцена. Отец Евфимий дает ей книжку по навыкам выживания в лесу. Ей девять лет. Она старательно переписывает в блокнот премудрости: как разводить огонь после дождя в лесу, как питаться ягодами и очищать воду в полевых условиях, как строить хижину. В школу регулярно приходят ветераны и рассказывают про войну. Ветеранов мало, и рассказывают они одно и то же. Скучно. Все ее друзья и знакомые тоже живут, как на войне. Некоторые священники и монахи, пережившие репрессии, тоже рассказывают о прошлом. Куда интереснее! К ним ездят и слушают истории новомучеников. В доме у отца Евфимия стоит рюкзак с консервами и сухарями. И у Алины в доме стоит такой же. Это если всех погонят в Сибирь.

Сейчас все расслабленные. Вот она, Алина, гуляет по Праге, и никто ее еще не расстрелял.

«Вот об этом и напишите, Алина!» — со смеющимися чертиками в глазах произносит волшебная Зоя Винарская. И делится задумкой — открыть школу писательского мастерства в Москве. Алина получает персональное приглашение.

На следующий день волшебная Зоя Винарская рассказывает Алине о своей учебе в солнечной Калифорнии. У нее целых два высших образования. И две ученых степени. Одна получена в России, в Москве, а другую диссертацию она защищала в Америке. Так что она и кандидат наук, и PhD. Алина сравнивает ее со Светланой-Фотинией, которая голой бегала по морозу в Москве и присылала Валечке панические телеграммы: «Заберите меня, стою Казанском вокзале, денег не осталось». Зоя Винарская — солнечная, воздушная, вдохновенная, а Светлана-Фотиния сгубила себя в костромском монастыре. Может быть, уже и повесилась там, кто знает.

Когда они уловили твою душу, Алина?

Этот вопрос не дает мне покоя.

Тогда ли, когда ты повзрослела, и тебе понадобились деньги, а послушник Никодим, превратившийся в иеромонаха Алипия, таскал тебя за собой по деревьям и не платил тебе ни копейки? И в детском церковном хоре тебе не платили за красивый голос.

Или когда ты почувствовала зов плоти и не знала, что делать с этим, не знала, как отличить тягу к душе человеческой от влечения к рукам, глазам, голосу?

Или когда тебя смешили учителя в школе, строившие из себя умников, хотя вся их премудрость основывалась на плохо выученных лекциях в их пединституте? Ты ведь не ходила в школу, когда тебе не хотелось, и маме было все равно, что ты появлялась на уроках от силы пару раз в неделю, а оценки у тебя были всегда отличные, и умники-учителя никогда не могли подловить тебя на незнании. Бросив школу с бюстом классика русской литературы над входом, ты перебралась в педлицей, но и там учителя не впечатляли тебя.

Ты даже с нашим молодым преподавателем в институте время от времени спорила. Ты знала православную жизнь изнутри, но и он преподавал церковно-славянский в воскресной школе, и он ее знал, по-своему, конечно же, и у вас всегда выходила ничья в спорах. Было ли это непри-

вычно для тебя, привыкшей чаще молчать, но при этом побеждать, когда ты решала заговорить?

Какое созвучие нашли в твоей душе пражские рассказы волшебной Зои Винарской, такой милой и совсем не агрессивной в общении? Или же она первой уловила твое желание стать *собой*. Все до этого момента пытались втянуть тебя во что-то, сделать своей. А ты хотела быть *собой*. Как Зоя в «Современной агиографии».

Понимала ли ты, что Зоя — *чужая*? Милая женщина с близорукими глазами после учебы в Америке стала публиковать рассказы из церковной жизни. Рассказы смешные, а взгляд автора — равнодушный. Она, конечно, мастер креативного письма, весьма технична в описаниях и мелких деталях. Однако не более того. Над вымыслом она слезами не обольется. Потому что для нее о *чужом* речь идет.

Представь себе, что ты попадаешь ногой на банановую корку и приземляешься на пятую точку. Больно, плакать хочется. А если другой человек грохается, да еще так руками машет в полете, и сумка с сырыми яйцами у него о землю бьется... Нет, громко смеяться неприлично, а вот интеллигентно, в кулачок, можно прыснуть. И даже потом подойти, спросить лицемерно, не нужна ли помощь.

Вот так и она пишет — о *чужом*. Мы в гостях не говорим, глядя на фотографии в семейном альбоме: какая потешная бабка, зубов нет, а твердое яблоко в ладонке зажала! Для пригласивших нас эта бабка — добрая и старая мама. Это для нас она *не своя*. Но мы понимаем.

Ты возражаешь: вы сами вечно требуете слез над людскими пороками, а не смеха. Так почему вы так радуетесь легкому, воздушному Пушкину? Светлое имя Пушкин, превратившееся в государственный бренд? Замените его на кого-нибудь другого! Не получается из-за шаблонов мышления? Тогда что вы имеете против волшебной Зои Винарской? Она — легкая, воздушная, словно девочка, перебегающая с одного пражского берега на другой...

Заменить, говоришь? Зое Винарской очень дорог Иосиф Эмильевич. И она всерьез предлагает заменить им Пушкина. Ты слышала об этом, Алина? Ты готова отказаться от Пушкина?

Ой, да ладно, говоришь ты. Помимо Пушкина на свете найдется немало отличных поэтов. Надо всего лишь иметь позитивное мышление.

К счастью, мы вовремя перестаем спорить, потому что аргументы становятся все более сомнительными, и никто уже не помнит, на какой из них отвечает и какой позиции сам придерживался в начале спора. Так и рассориться вдрызг недолго.

6

Приходя в чужой дом, многие из нас задумчиво проводят пальцем по ребрышкам книжных полок и замечают: «Пыль...» А если полки не обнаруживают, то удивляются: «Вы совсем не читаете?» Это негативное мышление. Противопоставление себя другому человеку с целью подчеркнуть его ущербность, неправильность, незначительность. Пыль ведь можно и не заметить, коли дом — чужой. И вопрос задать иначе: «Что за книгу вы недавно прочитали?» Так было бы вежливее.

Юрьев был маленьким, а девушка была большой: с распахнутой миру душой, с большим сердцем и пытливым умом. Она хотела мыслить позитивно, не вступая в вечную борьбу с кем-то, не ограничивая себя необъяснимыми и ненужными ей запретами.

Перейдя на четвертый курс, она воспользовалась программой академического обмена, которую вдруг предложил нашему институту какой-то македонский университет. В далекие советские времена страны, противостоявшие капиталистическому лагерю, дружили между собой. К нам в Юрьев приезжали и восточные немцы, и венгры, и болгары. Своевольные ветра заносили в нашу провинцию даже шоколадных ребят из Мозамбика и Мадагаскара. С началом перестройки их поток из реки превратился в ручеек, а потом и совсем иссяк.

Рушились страны, рождались страны. Время разбрасывания камней вновь сменилось временем их собирания. Македония трепетно поддерживала независимость своего наречия от болгарских корней. И дружба с русским вузом была для македонцев хорошей возможностью показать на деле эту языковую самостоятельность. Москва или Петербург, взглянув на географическую карту, отнесли бы к этому македонскому университету свысока. А Юрьев никак не мог изображать снобизм. Ректор института возобновление контактов с Европой назвал давно назревшим решением и выписал нашему декану премию.

Алина полетела в тот маленький македонский университет в числе первых. И ей там было хорошо. Рано утром она выходила на балкон своей комнаты, смотрела на спокойные воды огромного озера и негромко декламировала: «Когаќезај десонцето, ангели те гоземаат и го носат на Престолот Господов и гоставаат на колена и непрестајно пеат песни...»

«Ты представляешь, Валечка, — выводила она строчку за строчкой в письме домой, — это так прекрасно, или *добро* по-здешнему, читать и слушать: *Когда солнце садится, Ангелы берут его и несут к престолу Господню, сажают на колени и непрестанно поют песни... Каждый мой день начинается с того, что херувимы бьют крыльями от радости...*»

А вечерами, когда волны на озере превращались в один нежный многоцветный пряничный орнамент, а над далекими горами повисала сероголубая дымка, Алина выбиралась на ближний причал и смотрела на чаек, лебедей, моторные лодки, рыбаков, пока не становилось совсем темно.

Днем она ходила на занятия, читала в библиотеке местные легенды о здешних средневековых маковых полях, о происхождении македонцев, которые пошли то ли от воинов Фемистокла и Демосфена, то ли от их врагов, то ли от сербов короля Марка, то ли от югов, которые тоже были сербами...

«В старину здесь на маковых полях собирали сок с растений, затем сушили эту гущу и давали в приданое невестам. Чем больше сушеного макового сока, тем интереснее невеста, — писала она маме. — Я вот вообще не рассматриваю себе человека в качестве мужа, если у него будет зависимость. А как быть, если у потенциальной невесты целый сундук наркотического приданого?»

Это была свобода.

В стране все стоило очень дешево. Стипендии от университета хватало на скромную жизнь, а к иной Алина никогда и не привыкала. Главным стало общение. Девушку из России в яркой оранжевой майке, с двумя косичками, с деревянными бусами на груди (шедевр от Валечки) быстро узнали все творческие люди: и веселый француз Доминик, не расставившийся с фотокамерой, и Каталин из Венгрии, приехавшая на археологическую практику, и ребята из соседней Сербии, занимавшиеся этнической музыкой... Учеба, как таковая, Алину не сильно интересовала, она мало чем отличалась от той, что была дома, — все те же зачеты, экзаме-

ны, кредиты, а вот люди представлялись ей тем, что ни за что нельзя потерять.

Она вдруг поняла, что многие пословицы, которым ее учили в детстве, в корне неправильны. «Хорошего понемножку», — изрекла Женя из Москвы за завтраком, а Алина зацепилась за эту мысль и спросила: «А почему?»

Зачем ограничивать их летние походы в горах между Рамной и Црновицем? Зачем забывать занятия йогой, которые ведет сама Женя? Зачем прерывать чтение хороших книг? Внешние события — это не что иное, как ветер на обрыве, который уносит все ненадежное. И если ты устоял, значит — ты крепок и прочен. Значит, ты на *своем месте*. Не отказывайся же сам от него, не пасуй, не бойся!

7

Формально твоя жизнь остается прежней. Ты все та же Алина, студентка, девушка в расцвете молодости и самостоятельности, познающая мир и людей вокруг себя. Из Македонии ты возвращаешься к нам, чтобы сдать последние экзамены и получить диплом. Потом исчезаешь. На некоторое время я теряю тебя из виду, потому что ты не приходишь на наш выпускной, как когда-то не пошла на выпускной в школе, и никто из однокурсников не может сказать, где ты. Пару лет я гадаю, осталась ли ты в Юрьеве, или перебралась в деревню, или поселилась в какой-нибудь колонии художников близ Суздаля или Плеса, но все это — лишь гадания на кофейной гуще. Знакомые, пожимая плечами, говорят, что видели тебя в Москве.

Я сижу дома в своей однокомнатной квартирке и читаю Диккенса, когда раздается телефонный звонок. Я снимаю трубку и слышу твой голос. Ты хотела бы зайти в гости и поболтать.

Когда тебя ждать? Адрес помнишь?

О, ждать долго не придется: ты звонишь из автомата на углу моей пятиэтажки.

Выхожу встречать.

Длинная юбка из фланели до самых пят, красного цвета, но с черными квадратными вставками. Синяя куртка, тоже клетчатая. Напоминает шотландскую моду. Те же внимательные и смешливые глаза. Прибавилось ли в их выражении ироничности? Не знаю, возможно. Но что-то в тебе точно стало другим.

Пока греется вода в чайнике, нащупываем темы для разговора. Так всегда бывает, когда люди долго не видят друга, а потом оказываются рядом и внезапно выясняется, что старые нити бесед утеряны, а новые еще не сплетены. По счастью, у меня на полках стоят книги, а на дверце холодильника висят магнитики из разных мест.

Ты говоришь, что много путешествуешь.

Я вспоминаю рекламу турфирм.

Нет, туризм — это совершенно иное. Ты не хочешь быть туристом, только путешественником.

По какому же пути ты движешься, Алина?

Рассказываешь, как в Москве случайно купила книжку.

О чем она?

Семейная пара из Америки, обоим — по семьдесят, утомились прежней жизнью, и продали свой дома в Мичигане, чтобы путешествовать по миру. Старик пишет теперь цикл про детектива Клайва — всякий раз

с этническим уклоном, а его жена ведет блог, в котором делится с подписчиками описаниями местной кухни, нарядов и тому подобного. Вот они — путешествуют. Это же так замечательно: работать, не будучи привязанной к одному месту; пытаться понять других людей, их местную логику, обычаи; искать родственные души, делая остановки в пути на неделю, две или даже месяц. Туристов ведут за собой на веревочке экскурсоводы, а путешественники совсем другие.

Киваю головой. Ага, понимаю. Юбка — из Шотландии?

Ты смеешься. Нет, нет, не настоящая, это мама сшила по мотивам ее рассказов.

Так, значит, ты покаталась по Европе?

Как раз готов чай.

Ты усаживаешься в мое кресло, окидываешь меня испытующим взглядом и предлагаешь сыграть в три вопроса. Если сложится мозаика, если сойдутся друг с другом вопросы и ответы, я все узнаю. А если нет, то нечего и разговаривать об этом, лучше будет сменить тему.

Что ж, попытаюсь.

«О чем сейчас мои мысли?»

Я молчу и изучаю выражение ее глаз. В них нет этого дня и этого года. Есть я, но это совершенно неважно. Я отвечаю.

«Ты хочешь вырваться отсюда. И уверена, что никто тебя не удержит».

Алина слегка наклоняет голову и размышляет о втором вопросе.

«Что может из меня выйти?»

Этот вопрос потруднее первого. Ты не спрашиваешь, что должно выйти, а задаешь вопрос о *возможности*, данной тебе. Так и отвечаю.

Я попадаю в точку, потому что она не вздыхает облегченно, а снова задумывается. И задает последний вопрос: «Какова цель человека?»

Самый сложный и самый провокационный. Я стою на тонком льду, под которым правда. И если лед проломится, я попаду в правду, но в том-то и дело, что такая правда мне мешает, потому что любопытство сильнее. И я отвечаю: «Ты сама знаешь, что не существует однозначного ответа».

Да, это как любовь, соглашаешься ты. С тем или с другим, обременительная или возвышающая, привычная или до отвращения чужая — никогда не знаешь точного ответа. Даже муж твой не внес ясности в этот вопрос. Вот что странно.

Поначалу ты действительно устраиваешься в московскую школу учителем русского языка и литературы, а также мировой художественной культуры. Дети тебя любят, однако администрация через год предлагает расстаться полюбовно. Дисциплины на уроках никакой, объясняет завуч, серая тетка в строгом костюме. Ты фыркаешь и пишешь заявление об уходе. К тому моменту ты уже благополучно аспирантка в Хогвартсе (кто знает, тот поймет), и потеря рабочего места не сильно тебя волнует. И следующие годы ты колесишь по факультетам и вузам, поступая то в одну, то в другую магистратуру.

А муж, откуда ты взяла его?

Из-за границы. Ты смеешься. Люди привозят из-за границы магнитики и шмотки, а ты — мужа. Он очень умный, вы познакомились на летней школе все в той же Македонии.

Кстати, знаю ли я, что уже три девочки из нашего института вышли замуж за иностранцев? Про одну я слышал, а остальные...

Саша переехала в Сербию, живет прямо в столице. У нее муж занимается перевозками, а она потихоньку учит сербский, чтобы работать экскурсоводом. Марьяна перебралась в Скопье. Муж тамошний, македонец, работает в представительстве России, так что она теперь почти дипломат. Вместе с ним проводит всякие культурные тусовки.

Я помню их. Обе умные и скромные. Одна, кажется, ходила в воскресную школу при Вознесенском храме, где преподавал наш Арсений Николаевич. Это с ним спорила на занятиях Алина. У другой тоже семья была православной.

Мне начинает казаться почему-то, что наш Юрьев обеднел из-за этого. Две девушки, две симпатичные умницы уехали и вряд ли когда вернутся. И дети их станут чужими для страны. А внуки позабудут язык...

А твой муж, из какой страны?

Москвич. И у него есть еще вид на жительство в Эстонии. Он сотрудничает с университетом в Тарту. Но познакомились они на летней школе в Македонии. Да, очень сложно понять с первого раза. А еще он бывший муж.

Теперь я вижу твою новую *форму*, Алина. Текущий, мятущийся характер устремляется попеременно в разные стороны света, чтобы обрести устойчивость, в смутной надежде найти прочный сосуд. «Не вливают новое вино в ветхие мехи», — легко могла бы ты процитировать.

Крестика на твоей шее я не вижу.

Ну, а что — крестик?

Сидя на вершине горы в Непале, ты обсуждала с двумя бородатыми иранцами счастье освобождения от религиозного дурмана. Вообще-то они бредутся, но сейчас обросли немного в пути. Иранцы пили белесоватый тонгба крепостью градусов в пять, как наше пиво, и рассказывали, как им удалось эмигрировать и как сложно они потом привыкали к женщинам, вину, к тому, что можно носить короткие шорты и сандалии и бриться... И главное при этом — не переживать страшных мук совести.

Вернутся ли они когда-нибудь на родину? Они стараются не думать об этом. Все стараются не думать. Ходят вокруг прежнего дома и смотрят на него издали, боясь позвенеть колокольчиком, чтобы кто-нибудь дома не услышал и не вышел на крыльцо, не позвал.

Да и кто может тебя позвать?

Родную Валечку ты уже давно перетянула в летние школы в Македонии, в поездки с собой на Украину, в Чехию, в Эстонию. Оказавшись на Украине, Валечка вдруг расщедрилась и поведала о твоём отце. Ты даже разыскала его. Встреча вышла так себе. Зато, по крайней мере, у тебя теперь есть оба родителя. Семейные отношения — сложная вещь. Вот твой дедушка, о котором бабушка никогда не рассказывала, умер недавно. Ну, как недавно? Умер-то он давно, в полном одиночестве в своей квартире в Перми, куда удалился ото всех. Жил затворником, соседи не сразу и обнаружили тело. Бабушка о его смерти совершенно случайно узнала от кого-то. А строгая Анна, Фросина тетья, вообще могла не выжить: ее родная мать вынесла после родов во двор и положила на приступочку сарая. Дитяtko орало, не переставая, два дня. И только когда плач сделался совсем тихим, сердце непутевой матери дрогнуло, и она забрала ребенка. Так что все относительно: у кого-то есть родители, и как бы нет их, а у других родителей нет сразу, но они не мучатся этим, коль так вышло. Главное, чтобы тот, кто рядом, был другом, мог понимать тебя.

А муж понимал?

Ты задумываешься, но я вижу, что у тебя сложился специальный ответ для всех любопытствующих. Муж был умным, образованным, но до конца не понимал, поэтому вы расстались друзьями к обоюдному удовольствию. Такой ответ лишает вопрошающего возможности посплетничать о тебе. Исчезает предмет для сплетен, ведь люди расстались без взаимных претензий, без жалоб на бывшего или бывшую.

Нет, нет, я вовсе не должен думать, будто ты ведешь монашескую жизнь. Просто, если могу я это понять, ты не собираешься быть женщиной, которая всю жизнь ставит в зависимость от любви. Попробуй, скажи это кому-нибудь — засмеют, и тут же начнут знакомить с правильными мужчинами. А тебе не хочется ходить по чужим тропинкам.

Ты симпатична, Алина, ты ведь знаешь это. И неужели к тебе никто не подходит с предложением познакомиться? Я совсем запутался в твоих историях о каких-то неграх в Лионе, о пизанутых художниках в хорватском Загребе, о бывшем муже, который готов спасти тебя из всех передряг, несмотря на развод. Так-таки и никто не подходит?

Ты снова улыбаешься. Смотришь испытующе. Ты не обязана скучать и страдать. Поэтому ты с умыслом обходишь все подходящие места для знакомств. Ты просто переезжаешь из страны в страну, работаешь на удаленке, это сейчас становится модно, питаешься по советам талантливой киевской девочки-нутрициолога, хотя иногда срываешься и наедаешься мясом от пуза, но так иногда можно. Смешно сказать, но за последний год ты побывала в добром десятке стран, как те американцы, та пожилая семейная пара. Это и много, и мало одновременно. Много, потому что иногда хочется остановиться и осесть где-нибудь, а мало, потому что вслед за горами Непала тянет познакомиться с другими вершинами, а после хорватского моря невозможно оторваться от мысли, что все эти узкие мощеные улочки, римские древности, оранжевые закаты не последние...

Я думаю, сколько у тебя осталось времени до того, как ты превратишься в разочарованную жизнь тетку. Десять лет, или двадцать, или все-таки больше?

Мне представляется, что Непал и Албания, и Индия, и Эмираты, и Словения, и Италия, и Хорватия, и Австрия, и Эстония, и что-то там еще — не более чем формы, в которые ты стремишься облечь возникшую в тебе и все более увеличивающуюся пустоту. И ты не можешь поверить в эту пустоту, потому что ее невозможно обнаружить самостоятельно, только сторонним, непредвзятым взглядом. Однако ты умна и чувствительна, а потому умеешь спокойно анализировать свои ощущения. И всякий раз заполняешь освобождающееся в тебе местечко новыми впечатлениями, странами, людьми. Именно поэтому ты расстаешься с мужем (даже не сообщила его имени). Он глубокий ученый, но он *запрещал* тебе рисовать холмы Ирландии, говоря, что нечего позориться. А в музеи Вены ты сбегала от него рано утром, пока он спал, выключала телефон и наслаждалась всем, чем хотела, чтобы по возвращении в гостиницу получить нагоняй за бесцельно потраченное время и деньги. Так же — и в Любляне, и в Нови-Саде... Так ведь было и в детстве, когда ты обнаружила и потом переживала непонятную тебе несправедливость — девочкам нельзя заходить в алтарь.

Кстати, твои ирландские работы великолепны. Дерево с облетающими листьями. Изрезанный временем холм, за которым расстилается вересковая равнина. Девушка в характерном цветочном сарафане...

Заметит ли кто-нибудь, что твои краски, узоры — это маскировка раз-

растающей внутренней пустоты? В наши дни арт-галеристы постоянно рассуждают о технике, о настроении, но никогда — о смысле, о содержании. Максимум, на что они могут сподобиться, так это на фразу: «Художнику восхитительно удается выразить на полотне всю сложность своего внутреннего мира, те эмоции, которые он испытывает...»

Что за мир внутри тебя, Алина? А еще важнее: какой вокруг тебя? Ведь Ирландии в твоих рисунках нет. И дерево, и холм, и девушку легко представить себе где-нибудь в Словении или той же Македонии.

О чем по-настоящему ты хотела бы написать картину?

8

Магистранты и аспиранты гуманитарного отделения Вышки чем-то похожи на магистрантов Хогвартса. Они проводят сравнительные исследования маргинальной религиозности в европейской культуре, изучают образы тиранов в искусстве, русские преступления в зеркале изящной словесности и тому подобные интересные вещи. Алину привлекают эти элегантные логические построения, это подчеркнутое внимание ученого к значимым деталям книжного текста, картины, музыкального этюда.

А волшебная и остроумная Зоя Винарская затевает неслыханный проект. К черту Литературный институт с его окопной, городской и деревенской прозой, с его классической поэзией! Писать может не только тот, кого напечатали в толстом журнале или приняли в сообщество на Тверском бульваре. Писать может каждый, школьник, студент, рабочий, даже самый долдонистый долдон. И она берется доказать это.

Об этом она рассказывает Алине, прогуливаясь с ней по берегам Влтавы. Зоя перечисляет имена своих сотрудников — креативных райтеров, заявивших о себе не в толстых журналах, которые вызывают ужас у обычных людей, а в доступной всем ветрам Сети. «И то, что они устояли, доказывает их правоту, — убежденно говорит она. — Их не снес поток забвения, который настигает слабых. Их фразы разошлись на цитаты в Интернете. И вот они-то будут сидеть в аудитории и проводить тренинги, прокачивать навыки письма любого желающего. И любой сможет открыть в себе скрытый талант. Талант — первый дар бога человеку. Об этом говорится во всех древних текстах. Боги спят, а люди творят во время их сна».

Боря Брунфельд, Георгий Зайер, Ксения Зиткевич — что за люди!

Алина получает персональное приглашение в «Академию креативного письма». У нее кружится от счастья голова.

Ее Валечка тоже творит. В огромном торговом центре «На Садовом» мама Алины открывает художественную студию. «Иконопись как средство арт-терапии». Это привлекательно, потому что люди не знают зачастую, как им справиться с психологическими травмами. Валечка собирается помогать таким. И Алина гордится своей лучшей на свете мамой.

Я никогда не сомневался в твоей способности создавать миры, Алина. Не случайно ты спустя пару лет переходишь из адептов в мастера. Подростки, угловатые, прыщавые, зажатые, косноязычные, сидят перед тобой, а ты предлагаешь им креативные задания. Алиса Мипогон научила тебя, как пробуждать спящий мозг, как выпинывать человека из зоны комфорта. Твои ученики должны за полчаса сочинить одноактную пьесу «Кража вантуса». В пьесе только три персонажа: пьяный сантехник, который изъясняется нецензурно, тетка — работница цветочного магазина и еще глухая покупательница. События усложнены любовным треуголь-

ником, однако украденный вантус должен способствовать разрешению конфликта.

Следующая пьеса называется «Трудовые будни». Ее следует сочинять в фольклорном духе. Всякие «ой, ты, гой-еси» приветствуются. На создание коллективного шедевра Алину сподвигает прочтение рассказа волшебной Зои Винарской, в котором Иванушка-дурачок в поисках своей царевны попадает в Тридевятое царство и встречает по дороге не совсем старую Бабу Ягу. Баба Яга — вполне себе привлекательная дама бальзаковского возраста. Она вручает Иванушке-дурачку волшебный стручок и, заговорщически подмигивая, делится волшебным секретом, что с этим стручком делать, чтобы завоевать симпатии царевны: «Стручок этот нужно будет трогать, мять, поглаживать, время от времени языком лизать. И стручок обрадуется, зашевелится, распрямится упругой колбаской, поскачет добрым молодцем по лесам дремучим, через реки кипучие, прямо в терем красной девицы».

Порыв вдохновения Алины охлаждает реплика одного из учеников, который уже слышал от кого-то про подобную пьесу. Впрочем, Алина не теряет. Названия одинаковые, но написать пьесу можно ведь и ни на что не похожую, верно?

Мне всегда было любопытно, как люди, подхихикивающие над прошлым и показывающие ему фигу в кармане, по прошествии лет копируют то, что отрицали. Догадывалась ли Алина, что в Академии, ставшей ей новым духовным пристанищем, все с веселой ухмылкой и чертиками в глазах копировали биттерфельдские упражнения, придуманные в Восточной Германии в конце пятидесятых? Круг ее новых друзей осуждал любые формы тоталитаризма, однако не воспитывали ли они сами такого же «нового человека», как за полстолетия до них?

Если бы я попытался заронить крупицу сомнений в душу Алины, она вряд ли поняла бы меня. Человек, избавивший себя от любой формы насилия и подавления, не может, просто органически не способен подавлять других. Так бы она ответила.

Однажды она вспомнила бывшего мужа. Нет, она не ругала его. Она размышляла о себе. «Меня очень напрягает общение с людьми, которые пытаются переступить мои границы, — сказала она, — это я про всех говорю, не только про мужиков. Они считают себя вправе обсуждать мои картины, оценивать мои слова. Я не ссорюсь с ними, но всегда запоминаю, какую границу человек перешел. И стараюсь в дальнейшем ограничивать такие разговоры. А далее совсем просто: общение либо сходит на нет, либо делается приятным для обеих сторон. Вот замужество научило меня очень важным вещам. Я никогда не смогу быть вместе с человеком, который думает, что он умнее меня, который самоутверждается за счет других, который живет в депрессиях, который жадничает в быту, который нетолерантно относится к любой группе людей, который обесценивает то, что я люблю, который критикует меня и мое окружение...» Здесь она остановилась, чтобы набрать воздуха в легкие, и продолжить перечисление.

Скорее всего, здесь и уловили ее. Уловили их. «Ты можешь», — говорили ей. «Ты можешь», — говорила она ученикам.

Ты можешь. Ты и только ты!

Кто разговаривал с ней?

Как бы там ни было, все переменялось весной четырнадцатого года.

Вот уж поистине далекая трагедия, если и повторяется, то внезапным фарсом! Я не знаю, как архимандрит Петр, благословивший Алину и ее Валечку на монашество, пережил их бегство. Сведущие люди говорили мне, что подобное отступничество переживается тяжело и беглецами, и монашеской общиной. Потому и испытывают проходящих не месяцами, но годами, потому и трижды спрашивают послушника, ползущего по полу погруженного во мрак храма: готов ли ты, человеке, изменить свою природу?

Почему же архимандрит Петр нарушил заведенный порядок? Пытался ли он таким образом удержать их души?

Тяжелы оказались монашеские апостольники да скуфьи. Алина и ее Валечка приезжали еще пару раз после своего бегства в Серафимовскую обитель, бродили между храмами и сидели на лавочках в тенистых уголках, да только обе хорошо понимали, что все в прошлом.

У странного Даниила, учившегося двумя курсами младше нас, будто была тайна, которую очень хотелось рассказать. Но при этом было стыдно. И он пребывал в вечном беспокойстве, хватался за новые знания и впечатления, чтобы заглушить этот стыд. Глаза его поднимались на собеседника, а в них мелькало легкое безумие. Глаза бегали по сторонам, а мне казалось, что это душа его мечется от одного к другому.

Даниил исчез из института, не доучившись до выпуска. Так же и Алина исчезла из мест своей жизни, грозящих сделаться постоянными или хотя бы длительными. Наш институт, одна магистратура, другая, аспирантура, летние культурологические школы в Македонии, Сербии, Словении, Эстонии, все эти переезды из страны в страну. У нее была одна точка опоры — она сама.

Мы не виделись с того случая, когда она внезапно напросилась в гости. Чай, беседа, превращенная наполовину в рассказ, наполовину в спор, легкое прощанье. Вот и все, что было.

Когда она предлагала поиграть в три вопроса или же делилась впечатлениями, полученными в путешествиях, меня не покидало чувство, что она испытывает меня. Она не испытывала ко мне чего-то особенного. Она пыталась понять, насколько я типичен среди прочих людей.

Или же она смутно хотела доказать себе, что все люди типичны? Мне было и лестно, и немного грустно. Она выделила меня среди прочих, сделав, таким образом, скрытый комплимент, но она же и выразила с самого начала сомнение в моей непохожести на других людей, с которыми ей приходилось сталкиваться. Возможно, она просто вспомнила наше студенческое, очень своеобразное общение. А возможно, во всем этом крылось нечто другое, над чем мне хотелось подумать.

Социальные сети позволяют общаться с человеком, даже если он об этом не знает. Я прочитывал время от времени ее записи и комментарии к ним. Смотрел ее фотографии из мест на Земле, которые казались ей важными и нужными. Угадывал ее планы на будущий месяц или год. Мы не переписывались, хотя и числились в друзьях друг у друга.

Мне показалось, что год от года в ее репликах и суждениях проступает все большая озлобленность. Она, насколько я помнил, не была злой, она не вредила другим людям из простого удовольствия, как пакостил Ноздрев в гоголевской поэме. Однако душа ее уже тогда была уловлена. И Алина уже никогда не признавала, что в чем-то могла быть неправа.

Так ребенок закрывает глаза ладошками, не желая видеть то, что противоречит его мыслям. Ребенок плачет, топает ногами, катается по полу, и вся его истерика — из противоречия между собственным желанием и объективным миром вокруг. Вырастая, уже никто не падает на спину и не сучит ботиночками в воздухе. Взрослые заменяют это язвительными суждениями вслух, подленькими комментариями в социальных сетях, демонстративными разрывами и отъездами.

«Я получила новый загран! Свобода! Валить!» — написала она в апреле четырнадцатого.

Чем обидела ее родина? И почему она решила, что родина чем-то обидела ее?

Четыре последующих года были потрачены на подготовку.

Она не писала прямо ни о чем, но я замечал, что она упорно растревает в себе что-то, неустанно взращивает тоску по будущему. На ее страничке возникали целые альбомы фотографий: Музей истории искусств в Вене, Этнографический музей в Любляне, Молодежное партнерство в Праге... Везде на меня смотрели улыбающиеся лица, за которыми сияла приходящая вечность.

«Братья Димитар, Наум и Константин Миладиновы, трое в одном лице, такое македонское *наше все*. Младший в начале девятнадцатого века учился в Москве. Заболел там туберкулезом, потому что было ему там холодно и голодно, — писала она. — Ах, какое стихотворение он написал в этой мрачной и ледяной Москве, как бы желал он превратиться в орла, взмахнуть могучими крыльями и улететь на юг, на Охридское озеро! Самое знаменитое стихотворение в македонской романтической поэзии. “Т’га за југ”. Моя московская тоска по раю...»

Овдеје мрачно и мрак м’ обвива
и темна м’глаземја покрива;
мразој и снегој, и пепелници,
силни ветриштча и виј улици;
околум’гли и мразојземни,
а в гр’дистудој и мисли темни...

«Мразој и снегој, и пепелници» — как живо для нее было все это в двадцать первом столетии, как часто она с профессиональной высоты осмысляла быдловатую речь в химкинских, мытищинских, бирюлевских автобусах! Речь людей, которые выключали свои мозговые фильтры и изливали на собеседника потоки мозговой слизи, сдобренной цитатами из ток-шоу и киноклассики!

Как она понимала Константина Миладинова!

Под ее постом в соцсети кто-то, не удержавшись, написал в комментарии другие строчки:

...Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Кто это был, я никогда не узнаю. Алина удалила представителя авгиевых конюшен патриотизма из друзей.

Однако сам комментарий оставила на страничке.

Она дотянула до ахматовской осени семнадцатого года. И даже перешла ее.

В восемнадцатом она уже переехала в Эстонию. Навсегда.

Я далек от того, чтобы превращать ее фигуру в опустошенную внутренним злом даму тридцати четырех лет, с неудавшейся жизнью, с отсутствием любимых мужчин и любимой работы. Она не сделала мне никакого зла, не обидела никого из однокурсников или общих знакомых. И мужчин в ее жизни хватало, и работу в любимой «Академии креативного письма» она нашла. Но задумываясь над этим, я всякий раз возвращался к вопросу: к какой же цели она шла? Чем наполняла свой путь? Она меняла формы своего существования, меняла географию жизни, пробовала новую кухню — македонскую, индийскую, немецкую, итальянскую, познавала новую технику живописи и новую для себя технику письма. Она любила и оберегала себя, облекая в новую одежду и в новые страны. Она жадно пила жизнь, рискуя однажды захлебнуться в ее стремительных потоках, но всегда ей казалось, что впереди ее ждут еще более прекрасные реки и ручьи. Разве могло все это заслуживать осуждения с моей стороны?

Или же нет, вовсе не так. Теперь, когда она переместила себя в другую страну и перестала называть прежнюю — родиной, я мучусь вопросом: когда началось ее скольжение к последнему шагу?

Иногда на ее страничках в соцсетях появлялись странные и нервные воспоминания о несостоявшейся жизни. Алина маскировала их модными терминами, почерпнутыми в Академии волшебной Зои Винарской: лонгрид, хэштег, автофикшн, выгрести пыль из темных углов...

Однако странное дело: мало что из написанного ею теперь помнилось. Хотя я снова сбиваюсь. Нет, не так, все не так!

Очень сложно подбирать слова.

Написанное ею помнилось, но специфично. Бросались в глаза умелые приемы письма, верные детали, но мне не хватало чего-то еще. Назвать ли это выходом за момент личной сиюминутности? Обозначить, как вопрос о главном? Не знаю.

Валечку она забрала с собой. И бабушку они перевезли в Эстонию. Адские муки переезда слышны в нескольких этюдах, которые она написала по окончании мытарств. Из окна их квартиры в Нарве был виден русский Иван-город. Его-то она и написала быстрыми штрихами. Тяжелые крепостные стены. Мрачное небо, освещаемое луной. Тучи, набегающие с реки. Все — тревожное и мрачное. Прощай, страна господ, страна рабов!

Зато потом началась новая учеба! Теперь уже в Академии изящных искусств во Флоренции. Пленэры в Южном Тироле. Кураторы помогают организовать уличные выставки в Венеции и Зальцбурге, вернисажи в Лондоне и Гамбурге. Кровавый Зевс похищает Европу. Черные мины в голубом море у золотого пляжа. Двухцветные купальники на пляже. Да и в одежде она предпочитает синих оттенков брюки и желтые шейные шарфы.

Думала ли она о прежней родине? Конечно, думала. На юбилей Победы написала на страничке:

«Ксюша вчера поделилась обалденной историей. Ее прадед во время войны стоял на охране немецких военнопленных. Так вот он помог нескольким из них бежать. И представляете, не попал под трибунал! Хотя у него отобрали после этого все. И звание ветерана, и все выплаты после войны, и документы в архивах уничтожили, которые доказывали, что он воевал. Ксюша спросила его, зачем он так сделал, а он ответил ей, что надо

разделять людей и государственную систему. Чудесная история, прямо для меня! История покруче любых киданий под танки».

Как же они уловили ее?

Длинный-длинный путь, пролеглий в ее душе от Сергея Радонежского до креативных писаний неизвестной мне подруги. Узор моего повествования все более расплывается, уже едва просвечивает сквозь толщу обычных слов. Иногда я даже думаю: существовала ли она на самом деле? Однажды мы остановились около той церкви, в которой крестили народного поэта Калинина, и Алина сказала: «Мог ли он думать, что кто-то станет вспоминать события, которые происходили с ним, когда он еще ничего не соображал? Как назвать это — *укорененностью*?» А я еще малодушно ответил тогда, что пока не крещен, не пишу стихов и вообще не знаю. Из церкви грузовики вывозили разный мусор. Стоявший возле кокольных молодой священник наблюдал за работами.

Крестился я только через год. В другом храме.

Почему я вспоминаю тот случай? Что такое *укорененность*? И что такое *выбор*?

На День Победы отец Алины написал ранним утром на ее страничке: «Помяни память своего прадеда Афанасия, добровольцем пошедшего на Великую Отечественную войну и закончившего ее в Праге в 1945 году! Помяни твою прапрабабушку, бывшую белорусской партизанкой! Когда она умерла, ее провожали в последний путь салютом! Помни, что жители моего родного города 9 мая 2014 года пошли против нацистского майда и объявили себя частью Луганской народной республики. И красный флаг провисел над городом до оккупации его нацистами в июле 2014 года. Я рад за Нарву, которая смотрела вчера праздничный концерт вместе с жителями Иван-города!»

Алина ответила ему сразу же: «А уж как мы с мамочкой радовались вчера, что пребывали далеко от Нарвы! Приятно быть вдаль от массового сумасшествия».

Я размышляю о ней и на некоторые вопросы не нахожу ответа.

